

Все, о чем он пишет, не только субъективно детерминировано — это неизбежно во всяком повествовании, — но все события, хотя бы мирового значения, располагаются вокруг личности повествователя. Тем не менее байроновский эгоцентризм не ограничивает пределов видения автора и читателя. Это возможно только оттого, что через сердце поэта, по известному выражению Гейне, прошел разрыв, расколовший земной шар¹³. Поэтому в его сознании уместается все, что волнует умы передовых людей его эпохи; исторические события становятся частью его внутренней жизни. Это не просто субъективно воспринятый внешний мир; это внешний мир, органически вырастающий в мир внутренний, т. е. та высшая форма гражданственности поэта, при которой высказывание об объективной реальности и осуждение ее приобретает характер страстного излияния.

Воздействие, являющееся следствием соединения инвективы с лирическим монологом, усиливается благодаря умению Байрона воспроизводить комические и трагические аспекты любого явления. Каждое из них рисуется ему в двояком свете, позволяющем читателю воспринять это явление в его многосторонности.

Падение Наполеона в изображении Байрона одновременно и трагедия и фарс; победа союзников страшна и жалка: они шакалы, рвущие на части свою благородную добычу¹⁴, а во главе их — толстый подагрик, Людовик XVIII, не способный ни на какие военные триумфы, кроме въезда на Пиккадилли¹⁵ — фигура, явно комическая. Реставрация Бурбонов (и сама по себе, и как сигнал к утверждению реакции во всевропейском масштабе) приводит Байрона в отчаяние, но он способен и смеяться над собственным отчаянием.

Наряду с обликом человека, душа которого вмещает в себе вселенную, в журналах и письмах встает перед нами и другой облик поэта, во многом ребячливого, способного на неожиданно жестокие поступки, на мстительность и несправедливость. Он хвалится своим искусством пловца и не устает вспоминать о том, как переплыл Геллеспонт; он делает вид, что презирает ремесло поэта и не работает над своими стихами (тогда как сохранившиеся рукописи говорят об упорных переделках), он опускается до злорадства по поводу смерти своих врагов и до словесной карикатуры на оставившую его жену; он не скрывает снисходительно-презрительного отношения к женщинам, с которыми он близок, и беспощаден к матери своей незаконной дочери Аллегры; он пишет трогательные письма своей последней подруге, графине Гвиччоли, а одновременно на языке деловой прозы объясняет друзьям, в какое затруднительное положение ставит его связь с нею. Ему заметно льстит высокое положение его дамы, и он подчеркивает это с наивным тщеславием.

Таким он предстает во многих своих письмах, и они составляют существенное дополнение к его автобиографии. Они показывают одновременно и емкость человеческого сердца, и неразрывную связь личности, хотя бы и самой выдающейся, с предрассудками века.

Смелость побуждает Байрона предоставить итальянским заговорщикам свой дом для склада оружия, но она же проявляется в любви к опасности как таковой, в мальчишеском увлечении воинственными стычками и уличными драками. Гордость, которая помогла Байрону противопоставить себя миру и преодолеть страдания, вызванные изгнанием из родной

¹³ «Мрачный гений Байрона, — говорила Санд, — это романтический дух XIX века». — F a g i n e l l i A. Byron e il byronismo. Bologna, 1924, p. 173.

¹⁴ Запись 8 апреля 1814. — Letters and Journals, III, p. 408. См. также письмо к Меррею 22 января 1814. — Ibid., v. III, p. 16—17.

¹⁵ Письмо к Муру 20 апреля 1814. — Ibid., v. III, p. 70—71, ср.: «...чтобы не возвращаться, как собаке, к блюетине памяти, я вырываю оставшиеся листы из этого тома и пишу Ипекакуаной, что Бурбоны вновь пришли к власти... К черту философию! Конечно, я давно презираю себя и человечество, но я никогда не плевал в лицо себе подобным. О шут, я сойду с ума». — Ibid., v. II, p. 412.